

ВИКТОР ГУМИНСКИЙ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЖИЗНИ ДУХА

(ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

*Этот плод моих трудов
Являет к вам мою любовь.*

Как это было?

Прежде всего был величественный казаковско-жилярдиевский дворец на Моховой, точнее, два здания через Никитскую, сиречь Герцена. Но второе – не наше, хотя, конечно, и наше тоже – там нередко проходили лекции и семинары. Но наше родное – вот оно, здесь, через калитку, обрамленную классической аркой (их всего четыре, по две с каждой стороны) в чугунной ограде с каменными же столбиками. Миновав калитку, ты должен проследовать сразу же в подъезд налево. И все время наверх, по просторным ажурным лестничным пролетам, по бесконечным коридорам, мимо бесчисленных высоченных дверей, из-за которых слышались то сдержанный гул, то взрывы хохота, то леденящее душу безмолвие – тихо, идут экзамены. Пролетев коридором насквозь, попадаешь на “заднюю” лестницу, крутыми виражами уходящую вниз, куда-то в неведомые глубины. На каждом этаже необъятные подоконники, устремляющиеся сквозь мощные стены, подобно бойницам, к далекому свету: на них при желании вполне можно расположиться вчетвером, а то и шестером, только сидеть придется на корточках, друг за другом. Здесь постоянно, особенно в холодное время года, толпятся студенты, и над их группами, как над камчатскими вулканами, висают дымные облачка – курить на “задней” лестнице не возбранялось. Это наш храм науки, филфак МГУ, самое необыкновенное учебное заведение на белом свете, где учились, учатся и будут учиться лучшие из лучших, соль земли и надежда русской литературы и науки.

Как и полагается, в нашем храме были и свои жрецы, открывавшие вчерашним школьникам бездны филологической премудрости.

На филфаке читали в те уже далекие годы многие замечательные преподаватели: древник Николай Иванович Либан, пушкинист Сергей Михайлович Бонди, зарубежник Альберт Викторович Карельский, языковед Юрий Владимирович Рождественский, славист Никита Ильич Толстой и т. д. Не говоря уже о семинарах: “железном” семинаре Владимира Николаевича Турбина, где занималась моя будущая жена, или Петра Васильевича Палиевского, где время от времени появлялся я.

Но слушание лекций не ограничивалось факультетскими стенами. Время от времени мы срывались с места и мчались в другие учебные заведения или учреждения, чтобы услышать того или иного исполина гуманитарной науки.

Легенды об Алексее Федоровиче Лосеве настигли нас еще на первом курсе. Редчайшие “Очерки античного символизма и мифологии” (1930), другие его работы читались в “круглой” читалке только под залог студенческого билета. К тому же к ним выстраивалась (в записи) огромная очередь. Но ведь его же можно и услышать? Ведь читает он совсем недалеко, на Пироговке, в Ленинском пединституте. Впечатление от лекций было огромное и совершенно необычное. Казалось, что профессор пришел на лекцию прямо после напряженного и не всегда, как сказали бы сегодня, толерантного выяснения отношений с Сократом, Платоном, Аристотелем и прочими. Похоже, они были давно и хорошо знакомы, может быть, даже прожили какое-то время в одной коммунальной квартире. Это ничуть не умаляло величия отцов европейской философии. Но становилось ясно, что за многовековыми наслоениями, интерпретациями и комментариями продолжает биться живая и по-прежнему актуальная древнегреческая мысль, что с ней можно соглашаться или нет, можно даже “в сердцах” как-нибудь “обозвать” античного мыслителя, и от этого он не станет лучше или хуже. Временная дистанция упразднилась, и перед нами предстал обыкновенный человек, почти наш современник, с ошибками и заблуждениями, но и с гениальными прозрениями и открытиями.

Лекцию “О филологии” Сергея Сергеевича Аверинцева мы слушали, кажется, в актовом зале издательства “Художественная литература”, где мне пришлось потом работать. Аверинцев читал феерически, крылато, его тонкий голос забирался порой на непостижимую высоту, особенно когда он цитировал что-либо по-гречески или по-латыни, длинные, выразительные руки то вскидывались в молитвенном обращении, то опускались, и он словно вибрировал в такт с царственными гекзаметрами Гомера, филиппиками Ювенала, мерными периодами Плутарха. И вообще, ученый как будто только что появился из своего любимого “серебряного века”: декадент, эстет, демиург. Аверинцев, судя по всему, недавно вернулся из первой поездки по Греции и был поражен размерами страны, столь много давшей человечеству. Ведь она заключала в себе огромный мир, который на века стал мерой и образцом для будущего. “Вы должны представить себе, — обращался он к аудитории, — что там все находится буквально рядом. Мы ехали на автобусе, а за окном так и мелькали: Афины, Фивы, руины древней Спарты и т. д.”.

Главным во всех этих лекциях было, наверное, одно. Каждый из нас начинал ощущать себя реально причастным могучему движению слов и смыслов, идей и образов, которое зовется историей мировой культуры. Прямо через нас проходили токи времени, каждый в себе чувствовал связь с самыми отдаленными эпохами и поколениями, произведениями и памятниками.

Такое “лекционное” вступление понадобилось мне, чтобы подчеркнуть: лекции Валерия Николаевича Сергеева в Музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева находились в одном ряду с самыми замечательными явлениями русской научно-культурной жизни Москвы конца 1960-1970-х гг. А для меня они были едва ли не главным событием жизни, во многом определившим дальнейший научный и творческий путь. Впрочем, я не был исключением.

* * *

Спасо-Андроников монастырь стоит на высоком и крутом московском холме, почти отвесно ниспадающем одной стороной к Яузе. С других сторон он окружен транспортно-человеческой сумятицей современной городской жизни. Ревущие автомобили, трезвонящие трамваи, перебегающие через площадь пешеходы; асфальт, бетон. А здесь, за монастырскими стенами — тишина, покой, зеленая травка, подбирающаяся к небольшому белокаменному Спасскому собору, сосредоточенно устремленному ввысь в своей соразмерной стройности и сдержанной нарядности. Он — в центре монастырского двора и всего архитектурного ансамбля. Он как бы одинокий, сам по себе, но ясно, что он главный, хотя совсем неподалеку, намного выше вышагивает в небо уступами четверика и восьмерика церковь Михаила Архангела.

Спасский собор самый древний (из сохранившихся в Москве) и самый гармоничный, он прекрасен. Крупнейший специалист по древнерусской архитектуре и искусству Г. К. Вагнер полагал, что Андрей Рублев был непосредственно причастен к строительству Спасского собора и не только как живописец (сохранился только малый фрагмент его росписи собора – деталь растительного орнамента). Ведь именно этот собор “мог отвечать архитектурно-идеалу Андрея Рублева – великого мастера гармонической композиции”. Но как бы то ни было, в Спасо-Андрониковом монастыре “Андрей Рублев был иноком, работал, умер и погребен”, как лаконично напишет в одной из статей В. Н. Сергеев.

Но чтобы попасть на лекцию, нужно идти к противоположной от Святых ворот монастырской стене, в так называемый “новый” корпус, иначе говоря, “гараж”. Там, прямо в одном из экспозиционных залов расставлены стулья, музейные банкетки, звучат приглушенные голоса: гости рассаживаются. Большинство знают друг друга, да и висящие на стенах великолепные копии фресок Дионисия и преподобного Андрея Рублева, принадлежащие кисти художника-исследователя (так называют этого мастера) Николая Гусева, всем хорошо знакомы.

Фрески Дионисия из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря мне довелось увидеть воочию. В самом начале 1970-х гг. мы с женой решили провести отложенный “медовый месяц” (кажется, через год после свадьбы) поближе к знаменитому монастырю. Поезд доставил нас в Вологду, а оттуда на стареньком пароходе “Клубов”, названном в честь героя-летчика А. Ф. Клубова, уроженца Вологодчины, мы совершили незабываемый переход по Северо-Двинской водной системе (потом я узнал, что мы плыли по каналу, называвшемуся до 1917 г. в честь своего строителя каналом герцога Виртембергского) до Кириллова. Особенно сильное впечатление на меня произвел процесс шлюзования. Пароходик входил в небольшую шлюзовую камеру почти впритык к ее стенам. Как закрывались задние ворота, я не помню, но действие на передних воротах, по-моему, достойно описания. Верх ворот был утыкан, подобно зубьям редкой гребенки, почти вертикально, метра на полтора торчащими вверх железными рычагами. По гудку пароходика на массивных воротах появилась группа женщин в замасленных спецовках, они рассредоточились, и каждая из них по общей команде навалилась всем телом на свой рычаг: вместе, чуть ли не в обнимку, они наклонились, осели, началось движение вод, и пароходик медленно всплыл вверх. Все происходило рядом, почти на палубе, можно было рукой достать. При этом женщины весело перебрашивались с капитаном “Клубова”, называя его по имени-отчеству, и вообще казалось, что разыгрывается какой-то общий домашний спектакль-ритуал. Ворота раскрылись, и неспешное, эпически спокойное плавание продолжилось. Уже из Кириллова – на автобусе – мы добрались до Ферапонтова.

Почти месяц в совершенно африканскую жару (в тот год горела, по-моему, вся Россия) жили в маленькой деревушке на берегу Бородавского озера и чуть ли не каждый день ходили по этому берегу в монастырь за несколько километров. Что вызвано было не только стремлением очередной раз постоять, задрав голову вверх, час-полтора, пытаюсь разобраться в сложнейшей многоярусной композиции храмовых росписей, но и причинами сугубо житейскими. Дело в том, что в единственной продовольственной лавочке на всю округу, располагавшейся рядом с монастырем, хлеб продавался строго раз в день по одной буханке в руки, а нам без хлеба для себя и для нашей хозяйки – бабки Елены – возвращаться было нельзя. Так хлеб насущный соединялся с пищей духовной. Но если с хлебом насущным все, так или иначе, решалось – каждое утро я садился в лодку и отправлялся удить рыбу, а по-вологодски “цокавшая” бабка Елена, ласково называя меня кормильцем, варила из выловленной рыбы уху, или ее жарила, или делала пироги-рыбники, – то с духовной пищей оказалось много сложнее. Уж очень глубока была бездна нашего невежества.

И только потом, уже по возвращении в Москву, с помощью того же Валерия Николаевича я научился отличать праотцев от евангелистов, а тех – от воинов-мучеников, не говоря уже о композициях на текст Акафиста Богоматери. Но многоцветно мерцающий голубовато-розовый мир фресок Дионисия, открывшийся в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря, навсегда заморозил меня. Прямо по слову летописца и вместе с посланцами князя

Владимира я могу повторить: “И не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого вида ли красоты такоя, и не доумеємъ бо сказати; токмо то веемы, яко онъде Бог с человеки пребывает...” Остается добавить, что “Дионисиев сюжет” занял в жизни В. Н. Сергеева особое место.

Моя однокурсница, а потом жена, Людмила Барбашова, и познакомила меня с Валерием Николаевичем. Сама же она впервые встретилась с ним в гостях у жены своего любимого школьного учителя, в свою очередь учившейся вместе с Сергеевым на филфаке. К этому времени Людочка работала в Рублевском музее в только что организованном культурно-массовом отделе и ведала там экскурсиями, лекциями и прочими мероприятиями. А заведующей отделом была искусствовед Марина Викторовна Егорова. Она же, кстати сказать, и дала нам адрес бабки Елены на Вологодчине.

...Но вернемся в “гараж”. Лекция вот-вот начнется. Я волнуюсь, кажется, гораздо больше сосредоточенного В. Н. Сергеева. Сегодня мне оказано высокое доверие: лекцию сопровождает показ слайдов, и за диапроектор, с помощью которого они проецируются на экран, а также за смену изображений отвечаю я. Поэтому я не свожу глаз с Валерия Николаевича, ловлю буквально любой его жест, чтобы не упустить нужный момент.

Валерий Николаевич, как мне кажется, и по внешности, и во многом по повадке принадлежит к среднерусскому, даже старомосковскому характерному типу. Небольшой рост, полноватая фигура в мешковатом костюме, над высоким лбом с залысинами зачесанные назад слегка волнистые волосы, голубые глаза за стеклами очков. Так мог выглядеть московский батюшка, а то и архиерей (впрочем, в те годы Валерий Николаевич был без бороды). Но не обязательно: похожие москвичи пели в церковных хорах, после того как отторгвали в лавках Гостиного двора, или прочитали с университетской кафедры лекцию о философии Шеллинга, или со стетоскопом на груди навестили немощного и скорбящего. Главное в этом типе – его естественная и глубокая укорененность в толще народной, повседневной жизни, но тут же следует подчеркнуть – православной жизни. Такими или почти такими были, по-моему, Михаил Погодин, Иван Забелин, Иван Снегирев, Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Алексей Бахрушин и многие другие. Иереи, монахи, профессора, врачи, купцы, писатели и т. д. и т. п. Они были книжниками, но не фарисеями. Они были практиками, прежде всего, в том смысле, что до обиходных мелочей знали дело, которым занимались и которое любили. Они не придумывали себе православия и не придумывали себя в православии, но органично жили в нем, как веками жили их предки. И никакие войны и революции не могли отклонить их с этого – главного – пути. На такой основе и возростал дух, интеллект, многообразные дарования этих людей.

И, конечно, на ней же расцвел и один из главных талантов Валерия Николаевича Сергеева – дар слова. Хочется думать, что учеба на филологическом факультете МГУ отточила, огранила это дарование. Пусть старославянский язык преподавался нам узко лингвистически, даже формалистически, во многом в отрыве от насков православной древнерусской литературы (она читалась особо) и, уж тем более, от богослужебных текстов. Но это был церковнославянский язык, о котором Пушкин писал, что “как материал словесности” он “имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими”. Блестящую историческую характеристику, данную поэтом родному языку, нельзя не продолжить. “В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему своей лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени”. Далее Пушкин делает уже вполне практический вывод: “Сам по себе уже звучный и выразительный, отседа заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделяться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей”. Этой стихией русского языка В. Н. Сергеев владеет в совершенстве.

Не случайно одной из главных тем его научных штудий стало “изображенное слово”. Следует ли напоминать, что вся христианская культура логоцентрична, словоцентрична. Слово на иконе – канонически необходимо. В. Н. Сергеев посвятил надписям на иконах ряд исследований, в частности, академически выверенную статью “Духовный стих “Плач Адама” на иконе”, напечатанную в 1971 г. в авторитетных Трудах отдела древнерусской литера-

туры Института русской литературы (Пушкинского дома). Очевидной данностью для автора было неразрывное единство древнерусского искусства, культуры: архитектуры, иконописи, литературы, музыки, богословия. Этим он отличался от коллег-искусствоведов, во главу угла ставивших рассмотрение стилистических, колористических и пр. живописных особенностей иконы. Ведь “Плач Адама” не только изображался на двери в жертвенник конца XVI – начала XVII в. из церкви с. Семеновского Пушкинского района Московской области, но и пелся во время чина прощения монахов в неделю сыропустную после вечерни в Троице-Сергиевом монастыре. Исследователь тщательно проанализировал даже мелодию этого покаянного стиха. По близкой проблематике ученый спустя некоторое время читал и спецкурс на филологическом факультете МГУ.

Для В. Н. Сергеева икона – это, в первую очередь, “окно к первообразу”, согласно известному святоотеческому определению. И уже отсюда, из “чистой духовности”, проистекло ее материальное, определяемое высшей сутью воплощение: композиционные особенности, цвет, колорит, стиль и т. п. Раскрытие смысла церковного искусства через православное предание – вот, на мой взгляд, в чем состояло существо научной деятельности В. Н. Сергеева.

Это проявилось в “Путеводителе” по Рублевскому музею, написанному В. Н. Сергеевым в соавторстве с Л. М. Евсеевой (М., 1971). Еще в большей степени такой принципиально новый подход должен был лечь в основу каталога иконописи музейного собрания, проект которого, по инициативе Валерия Николаевича, начал разрабатываться и обсуждаться в те же годы, но так и остался не осуществленным, как принято говорить, по не зависящим от автора причинам.

Но, пожалуй, в самой полной мере (при всех ограничениях, налагаемых эпохой) автор продемонстрировал подобное понимание древнерусского искусства в своей главной книге – “Рублеве”, вышедшей в 1981 г. в серии “ЖЗЛ”. Рецензию на эту книгу, напечатанную в одном из московских “толстых” журналов, я назвал “Время собирать камни”. И, действительно, буквально по камушкам В. Н. Сергеев собрал в книге все, что было известно о великом иконописце. Исследователь обобщил материалы и наблюдения, содержащиеся к тому времени в уже достаточно многочисленных научных трудах; подробно рассмотрел духовную и государственную жизнь “светлой, героической эпохи, времени национального подъема Руси, ее воли к единству”. Но главным было стремление увидеть за цепочкой исторических событий, за немногими данными, на основании которых можно было гипотетически, художественно реконструировать жизнь преподобного Андрея, их непреходящий смысл, раскрывающийся в творчестве.

Вот безупречно точный анализ композиционных и прочих художественных особенностей “Троицы”, содержащийся в главе, специально ей посвященной. Этот анализ необходимо включает толкование символического смысла каждой детали иконы, раскрывая вечную суть “умозрения в красках”, созданного “в память и похвалу” основателю первого на Руси Троицкого монастыря – преподобного Сергия Радонежского: “Да воззрением на святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего...” Вполне закономерен итог: в своем шедевре святой инок “с гениальным совершенством воплотил мысль о том, что любовь и единство святых, они – основа всего бытия, не искаженная злом идея жизни. Всегда, везде и во всем. И сейчас и во веки веков...” Не случайно книгу В. Н. Сергеева об Андрее Рублеве называли одним из веских аргументов при решении вопроса о канонизации великого православного художника Древней Руси (1988).

Подобный подход во многом близок к методологии знаменитой работы Л. А. Успенского “Богословие иконы православной церкви”. Но труд Успенского впервые вышел по-французски в Париже в 1980 г., русский оригинал был опубликован еще позже. Курс иконоведения, который ученый читал при Экзархате Московской Патриархии в Париже с 1954 по 1960 г. и который лег в основу книги, В. Н. Сергеев, понятно, слышать не мог. Хотя, конечно, отдельные статьи Л. А. Успенского издавались Западно-Европейским Экзархатом, печатались в “Журнале Московской Патриархии”. Л. А. Успенский даже прочитал несколько лекций по истории и богословию иконы в Московской Духовной Академии. В. Н. Сергеев был хорошо знаком с Л. А. Успенским, тот бывал и

в Рублевском музее, и дома у Валерия Николаевича. Дружил Сергеев с близким учеником и сотрудником Л. А. Успенского, известным специалистом по истории христианского искусства и богословию иконы профессором-протоиереем Николаем Мартыновичем Озолиным. Приезжая в Москву, о. Николай обязательно посещал Рублевский музей. Словом, связи В. Н. Сергеева с православными учеными, занимавшимися проблемами древнерусского искусства за рубежом, уже тогда были достаточно прочными и устойчивыми. Но говорить о том, что их идеи прямо повлияли на него, не приходится: такова была общая тенденция осмысления великого наследия прошлых веков.

Сергеев был одним из немногих специалистов, которые следили за развитием иконописания за рубежом. Он серьезно занимался творчеством о. Григория Круга, Д. С. Стеллецкого, Е. Е. Климова и др. Через много лет исследователь опубликовал о зарубежных иконописцах ряд статей и даже посвятил Парижской школе иконописи (1920–1980) особую работу. Она была частично напечатана в № 3 Вестника Российского гуманитарного научного фонда за 2000 г. Для Валерия Николаевича никогда не существовало разделения православного мира и православного искусства. В Рублевском музее бывали многие выдающиеся православные церковные деятели и ученые как из-за рубежа, так и из России: митрополит Сурожский Антоний (Блум), о. Иоанн Мейендорф, о. Всеволод Шпиллер и др.

Лекции и экскурсии В. Н. Сергеева собирали в Рублевском музее публику самую разнообразную и порой неожиданную. Я познакомился здесь с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (автором предисловия к “Рублеву”), с профессором ВГИКа и МГАХИ им. В. И. Сурикова Николаем Николаевичем Третьяковым, с физиком Борисом Викторовичем Раушенбахом, одним из создателей отечественной космонавтики, тогда членом-корреспондентом АН СССР, а впоследствии академиком. Интересно, что его привела на лекции В. Н. Сергеева актуальная, связанная именно с космическими полетами, техническая проблема: “Насколько достоверно изображение на плоском экране отражает реальное пространство в космосе?” Дело в том, что космонавт из-за устройства своего корабля не мог визуально наблюдать стыковочный узел и был вынужден следить за его положением только по монитору. И тут выяснилось, что изображение и реальность как раз и не “стыкуются”. Изучение пространства иконы, ее так называемой “обратной перспективы” (В. Н. Сергеев предпочитал говорить о многоцентричности) помогли ученому в решении этой проблемы. Впрочем, он на этом не успокоился и посвятил средневековому искусству несколько трудов, в частности, книгу “Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы” (М., 1986).

Лекции В. Н. Сергеева посещали художники, искусствоведы, философы, филологи, кинорежиссеры, студенты, на них нередко бывали представители самых различных литературных кругов, например, уже тогда известные критики либерально-философского направления Рената Гальцева и Инна Роднянская, Лев Аннинский с супругой, а с другой стороны – писатель и друг Валерия Николаевича со студенческих времен Юрий Лощиц.

Самые близкие и почетные гости приглашались в фонды, на чаепитие, а то и на трапезу. Со времен этих чаепитий у меня в памяти осталась простая, но забавная присказка: “Кто пьет чай, тот отчаянный”. Возможно, она каким-то образом связывалась с самим качеством музейного чая. В те годы хороший чай необходимо было “доставать”: кому-то его привозили или присылали из-за границы, кто-то умудрялся раздобыть его и в Москве. Но подобное случалось редко. Так что ту жидкость, которую чаще всего пили за столом в фондах, очень трудно было назвать чаем. Но травяной настой, заменявший нам чай, никак не уступал индийскому или цейлонскому напитку ни по своему насыщенному вкусу, ни по благоуханному запаху. Правда, иногда он действовал на неподготовленный организм совершенно непредсказуемым образом.

Главным “чаеваром”, собирателем целебных трав в лесу по дороге на работу и, вообще, главным кулинаром в музее был, как и полагалось по его высокому статусу, главный хранитель фондов Вадим Васильевич Кириченко. Особенно он отличался в постные дни, которые неукоснительно соблюдались в музее. Разнообразные ячневые, пшениные, с тыквой, с пшеничными отрубями и т. п. каши, густой кулеш, чечевичная похлебка единодушно признавались вершинами его искусства. Но Вадим Васильевич, конечно, разбирался не только в кашах.

О его способности точно атрибутировать икону, то есть установить время и место ее создания порой по совсем неуловимым признакам, по крохотной “пробе” на ее поверхности, ходили легенды. Казалось, он мог проникать взглядом сквозь потемневшую олифу, слои живописных записей до самого древнего их основания — это было похоже на чудо и напоминало прозорливость древних анахоретов. Да и сам Вадим Васильевич с его аскетической внешностью, светлым лицом, длинной бородой, ровным и тихим голосом казался мне человеком Древней Руси, неведомо как попавшим в наше время. Мэтры искусствоведения во время открытия выставок икон подсылали к нему учеников, аспирантов, чтобы те, держась поблизости от Вадима Васильевича, подслушивали его суждения, а затем использовали в своих работах. Я и сам был свидетелем удивительной проницательности В. В. Кириченко, когда служил в музее-заповеднике “Коломенское”, куда его пригласила для консультации главная хранительница этого музея, известный реставратор Маргарита Армановна Гра. В. В. Кириченко без всякого видимого усилия чуть ли не по годам датировал целый ряд произведений древнерусского искусства.

Рядом с Вадимом Васильевичем, как на троне, восседал искусствовед и сын искусствоведа, выдающегося специалиста по “самому близкому” декоративно-прикладному искусству, отпрыск старинного русского дворянского рода, художавый, узколицый, порой надменно недостаточный Александр Александрович Салтыков. Я его нередко встречал в Ленинке, где эта высокая, сухая фигура в белом чесучовом костюме неизменно вызывала благоговейное уважение у библиотечных служительниц: гардеробщиц т. д., особенно когда он сдавал им на сохранение свои черные калоши. Ныне он — настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей о. Александр.

Но, конечно, главным лицом за столом была Милена Душановна Семиз. В музее она заведовала библиотекой, однако не эта скромная должность определяла ее первенствующее положение в музейном обществе. Я всегда именно такой представлял себе французскую королеву Екатерину Медичи, когда читал романы Александра Дюма. Ее гордо посаженная голова, царственная осанка, нерусская красота выразительного лица с глубоко посаженными глазами, тонким носом с аристократической горбинкой; пышная копна густых, с сильной проседью волос, упорно сопротивляющихся любым попыткам собрать их хотя бы в некоторое подобие прически, — все это складывалось в образ женщины властной и незаурядной, привыкшей повелевать, а не подчиняться. Сама себя Милена Душановна иронически называла “старушкой” (да и другие ее так за глаза называли), и было в этом прозвище что-то неуловимо щемящее, но уважительное — все-таки королева находилась в изгнании, в монастырском заточении.

Дочь эмигранта из Сербии, репрессированного в конце 1920-х гг., ставшая искусствоведом, сотрудницей ленинградского Эрмитажа, в конце 1930-х гг. в очереди в пересыльную тюрьму, где содержался ее отец, познакомилась с Анной Андреевной Ахматовой, принесшей туда же передачу для сына. Несмотря на существенную, в двадцать лет, разницу в возрасте, женщины подружились. Точнее, подружилась с Анной Андреевной мать Милены Душановны, а дочь естественно вошла в этот женский дружеский круг. Много лет спустя известный литературовед Виктор Дмитриевич Дувакин, одно время преподававший на филфаке МГУ, записал воспоминания Семиз. В 1999 г. они были напечатаны в составе книги “Анна Ахматова в записях В. Д. Дувакина”. К слову сказать, дочь Дувакина Катя тоже тогда работала в Рублевском музее.

Как же я удивился, когда узнал, что Милена Душановна сохранила куклы, в которые играла в детстве. Да к тому же и сама мастерила по их подобию новые — для своих знакомых. Составилась целая коллекция, и нетрудно догадаться, как она называлась — “принцессы Милены Душановны”. Недавно эта коллекция экспонировалась не где-нибудь, а, судя по названию, в сказочном месте — в Опочининской библиотеке г. Мышкина Ярославской губернии — там был в ссылке ее отец.

Милена Душановна была способна на совершенно неожиданные поступки. Так, в 1973 г. на свой страх и риск она предложила Сергею Сергеевичу Аверинцеву креститься, причем не где-нибудь, а прямо здесь, в помещении музейной библиотеки (креститься в церкви было нельзя, так как там требовали паспорт, после чего неизбежно следовали серьезные неприятности на ра-

боте). Тот, не задумываясь, согласился. К тому времени С. С. Аверинцев был уже кандидатом филологии, автором монографии “Плутарх и античная биография” (за нее он, кстати, получил премию Ленинского комсомола) и целого ряда статей (“Новый Завет”, “Христианство” и т. д.) в “Философской энциклопедии”. Таинство крещения совершил приглашенный Миленой Душановой о. Владимир Тимаков, служивший тогда в Николке на Кузнецях. В этом рассказе я в основном опираюсь на воспоминания батюшки. Правда, согласно другой версии, С. С. Аверинцева крестили на квартире Милены Душановой. Все прошло благополучно: крестной была сама Милена Душановна, крестным отцом – муж известного искусствоведа Ольги Сигизмундовны Поповой, друживший с Аверинцевым. А затем, по традиции, последовало торжественное чаепитие.

Разговоры за чайным столом всегда старались вести степенные, душеполезные. Правда, учитывая молодость большинства присутствующих, и они иногда прерывались неудержимым смехом. В умении вести застольную беседу Валерию Николаевичу, конечно, не было равных. Его остроумные замечания, постоянные колкости могли расшевелить любого из присутствующих, включая обычно невозмутимого Вадима Васильевича.

Особое место среди застольных бесед занимали рассказы об экспедициях, о необыкновенных находках, обретенных во время их проведения, тем более что на некоторые из них можно было взглянуть тут же, по соседству – у реставраторов. Довелось и мне принять участие в одной из таких экспедиций. Это было, кажется, на склоне лета в 1974 г.

Мы отправились в Тверскую губернию (тогда Калининскую область) втроем: руководитель – Валерий Николаевич Сергеев, Марина Викторовна, оставившая к тому времени административную должность и ставшая полноправным музейным реставратором, и я – экспедиционный рабочий.

Впечатлений во время экспедиции было великое множество, но в памяти остались преимущественно эпизоды. Я, потомственный горожанин, столичный житель, продолжал открывать для себя провинциальную и сельскую Россию. Увидев впервые колокольню Калязинского монастыря, окруженную голубой водной гладью, я просто ахнул: град Китеж, таинственный символ погнанной и разрушенной красоты, ушедшей под воду. Но сохранившаяся свеча-колокольня с крестом, устремленным в небо, словно свидетельствовала, что до скончания века не одолеют врата ада церкви Его. Именно судьба этого монастыря, точнее, того, что от него осталось, и привела нас в Калязин.

Мы звоним в калитку, прорезанную в глухом деревянном заборе, и нам открывают. После представления – приглашают в дом. Идем по двору, и тут нас окружает, нет, не сад, а настоящий “вертоград многоцветный”. Мощные гладиолусы стоят, как солдаты на плацу, сомкнутыми рядами; изысканные тюльпаны всех цветов радуги клонят свои головки долу; пышные, но низкорослые гиацинты расстилаются голубыми коврами; розы, пионы и т. д. и т. п. Большой темный деревянный дом вполне достоин такого окружения. Он на высоком подклете, с галереями, ажурной резьбой – дворец во дворец, терем не терем. В комнатах нас встречает, поднявшись из кресла-качалки, строгая дама. Я успеваю заметить на ампирном бюро книжную новинку – роман американца Джона Чивера “Ангел на мосту” (в Москве я так и не сумел достать его, но до сих пор помню название), горку конвертов с иностранными марками и адресами. И это провинциальный Калязин?

Но настоящее потрясение ожидало меня позже, – Валерий Николаевич был невозмутим. Дама провела нас в закрытое помещение, примыкающее к дому и напоминающее то ли небольшой ангар, то ли большой коридор. На одной из его стен в огромных деревянных рамах висели фрески XVII в., составленные из разнообразных по форме и размерам фрагментов – “сколов”. Они принадлежали взорванному и затопленному при строительстве в конце 1930-х гг. Угличского гидроузла Троицкому собору Макарьевского Калязинского монастыря: кажется, апостолы в полный рост, “Страшный суд” и т. д. Такого я еще никогда не видел: иконы – да, но храмовые фрески в доме?

При возвращении в гостиницу Валерий Николаевич рассказал, что встретившая нас дама – известный, с европейским именем цветовод (так вот откуда “вертоград” и заграничная корреспонденция!), родственница (может быть, дочь, может быть, племянница – я уже не помню) замечательного человека – Ивана Федоровича Никольского. Он был выходцем из “колокольню-

го дворянства”, то есть духовенства, создателем Калязинского историко-краеведческого музея и участником работ по снятию монастырских фресок, которое проводила группа художников-реставраторов под руководством П. И. Юкина. Из примерно тысячи квадратных метров росписей было снято всего около 150 метров. Сам Юкин даже разработал какую-то особую технологию снятия фресок в разрушаемых храмах и опубликовал об этом брошюру. Дочь (?) Никольского и написала в Рублевский музей о хранящихся у нее в доме сокровищах.

Помню уютный, утопающий в зелени, какой-то совсем купеческий городок Кашин. Направляясь с Валерием Николаевичем и Мариной Викторовной по одной из его улиц, мы случайно обратили внимание на жестяной трафарет с ее названием – “Ул. С. Щедрина”. Постепенно отвыкавший чему-либо удивляться, я лишь подумал, что по возвращении в Москву надо будет обязательно просмотреть биографию художника первой трети XIX в. Сильвестра Щедрина – автора чудесных итальянских пейзажей. Неужели он родом из Кашина? Но, завернув за угол и взглянув на очередной трафарет, мы поняли, что в этом нет необходимости. На трафарете стояло: “Ул. М. Сибиряка”. Местное начальство просто решило сэкономить материал: так писатель М. Е. Салтыков-Щедрин превратился в художника, а его коллега Д. Н. Мамин-Сибиряк, как это выразиться поаккуратнее, – лишился “мамы”, т. е. есть своей настоящей фамилии – Мамин (Сибиряк – псевдоним), но зато получил инициал чужого имени.

Что уж тут говорить про меню, которое нам подали в каком-то привокзальном ресторанчике и в котором в графе “Холодные закуски” стояло выведенное каллиграфическим почерком: “Бутерброд с освинымом”. Как тут не вспомнить гоголевского “Иностранца Василия Федорова”.

Местные жители время от времени устраивали нам проверки. Надо было видеть, с каким лукавством средних лет мужчина, покопавшись в закромах своей избы, достал старопечатную книгу и попросил сказать, в каком году она издана – дата была обозначена церковнославянскими буквами. Ситуация стала напоминая сюжет знаменитого шукшинского рассказа “Срезал”. Валерий Николаевич, естественно, без малейших затруднений назвал время издания. Хозяин, сверившись со “шпаргалкой”, использовавшейся в качестве закладки в книге, остался вполне удовлетворенным. А однажды руководитель нашей экспедиции даже занялся математическими вычислениями в ответ на просьбу назвать день, на какой придется Пасха чуть ли не через двадцать лет. День был назван. Ветхая денми бабулька, которая явно должна была встретить Светлое Христово Воскресенье в том “запрашиваемом” году на небесах, торжественно выложила на стол книжку Церковного календаря. Замечу – большая редкость по тем временам, особенно в деревне. Дело в том, что в Православном Церковном календаре, изданном Московской Патриархией, в его конце обязательно помещается Пасхалия как раз на двадцать лет вперед. Даты сверили. Экзамен мы выдержали.

Или другая картинка. Жарким днем, усталые, мы бредем по тропинке, вьющейся по бесконечному полю, и замечаем фигурку, следующую тем же маршрутом. Нас нагоняет пожилая женщина, здороваается (как всегда принято здороваться в русских деревнях даже с незнакомыми людьми), мы отвечаем. Она уже готова продолжать свой путь, но, всмотревшись в наши лица, разворачивается и, засаживая ногами, вдруг подходит ко мне, сложив руки перед собой: “Отец Александр! Благослови!” Я замираю в недоумении, потом объясняю, что не имею права благословлять, ибо не священник и т. п. Она с таким же недоумением выслушивает мои объяснения и, укоризненно покачав головой, удаляется. Но дальше – больше. То и дело ко мне начинают подходить “под благословение”: в кузове грузовика, везшего доярок и рабочих на ферму и решившего подвезти и нас – “пешеходцев”; на сельской улочке и т. д.

Тут необходим комментарий. Дело в том, что, женившись в 1971 г., я отпустил бороду – можно сказать, что и по “идеологическим” причинам. Одна из моих первых публикаций как раз и была посвящена проблеме “идеология – внешность”. Сколько мне пришлось претерпеть из-за этого, лучше не вспоминать: различные начальники разве что с ножницами ко мне не подступали, пафос петровских преобразований никак не мог в них иссякнуть. Но в Москве все, так или иначе, образовывалось: ну, причуда человека творческой

профессии и т. п. Бородачи в столице не то чтобы часто, но встречались, и уж никак не реже, чем священники.

Как выяснилось, в провинции было иначе. Мне не раз приходилось растолковывать, что и Пушкин на отдыхе, в деревне, любил отпускать бороду. При этом поэт приговаривал: “Борода да усы – молодца краса! Выйду на улицу, – дядюшкой зовут!”. И т. п.

Этой странной ситуацией мы были заинтригованы, особенно я: незримое присутствие “двойника” будоражило воображение. Валерий Николаевич высказывал предположения, что о. Александр может оказаться каким-нибудь неизвестным моим родственником, ведь мало ли как бывает на свете и т. п. О. Александр был настоятелем единственного действующего на огромной территории деревенского храма и, естественно, являлся в округе личностью почти легендарной. Нужно ли напоминать, что все хорошо помнили времена хрущевских гонений на церковь, когда и немногие уцелевшие храмы закрывались один за другим, “двадцатки” разгонялись и т. п. Но встреча с батюшкой, к которому у нас были к тому же какие-то поручения, все откладывалась и откладывалась. Мешали неотложные экспедиционные дела, все время уводившие в сторону от села, где он служил.

Наконец долгожданный день наступил. Вот вслед за прихожанами из храма выходит и священник. Увидев ожидающих людей, он нерешительно приближается к нам. Нерешительность вызвана не только тем, что от незнакомцев городской внешности вполне можно ожидать какой-нибудь очередной неприятности. Эти же горожане ведут себя, по меньшей мере, невежливо: еле сдерживают смех и т. п. Батюшка все-таки подходит к нам, и мы начинаем оправдываться. Трудно было бы найти двух более непохожих людей, чем я и он. По сравнению с о. Александром я казался великаном, он был светловолос, немного рыжеват, я – брюнет и т. п. Мы оба смущены, но возникшее было напряжение вскоре спадает. У Валерия Николаевича и у о. Александра находится немало общих знакомых, оказывается, он слышал про В. Н. Сергеева и рад с ним познакомиться. Нас приглашают в дом, где сегодня – особый праздник. Матушка – консерваторка и на днях, с огромными трудностями, в сельский дом священника был наконец-то доставлен инструмент – фортепьяно. Нас ждет удивительный, в духе русских классических романов вечер: скромный праздничный стол под оранжевым абажуром, слегка колышущиеся под теплым летним ветерком занавески на открытых окнах, неторопливая дружеская беседа, блистательный Валерий Николаевич и, конечно, музыка: Моцарт, Шопен, Рахманинов...

По контрасту – другой эпизод. В центре большого села стоит заброшенный величественный храм XVIII в. Внутри мусор, мрак и запустение, ободранные стены, следы разгрома. Да обветшавший деревянный иконостас со следами былой позолоты и с пустыми глазницами на месте прежних икон. И только на самом его верху, в праотеческом ряду, несколько потемневших изображений. Снизу невозможно разобрат, достойны ли они нашего музейного внимания или нет. Никакие лестницы и веревки помочь не могут, да и где добыть альпинистское снаряжение. Я, большей частью по молодечеству, вызываюсь взобраться наверх и на месте разрешить все вопросы. Валерий Николаевич долго колеблется: уж очень хлипко выглядит грандиозная конструкция, – того и гляди рухнет. Но под моим давлением руководитель экспедиции определяется, – сказывается экспедиционный азарт, желание спасти очередную памятник православного искусства, как и то, что я уже не раз доказывал свою спортивную сноровку. Подъем разрешен. Он проходит более или менее благополучно, хотя все подо мной колеблется и потрескивает. Я уже крикнул сверху: “Новоделы!” – и приготовился спускаться.

Как вдруг в храм вваливается группа явно подвыпивших молодых людей с гитарой. На них форменная одежда – это “ремеслуха”, учащиеся районного ПТУ, отмечающие окончание производственной практики на местной МТС. Или, как говорил потом Валерий Николаевич, “нагрязнул гегемон”, то есть пролетариат – передовой отряд трудящихся, что прописано в любом учебнике марксистско-ленинской философии. Как нам впоследствии рассказали, чуть ли не при их участии некоторое время назад этот храм доводился до нынешнего состояния, так сказать, “заканчивался как отсталое явление”.

Передовой отряд ведет себя вполне соответствующим образом, с революционной решимостью. Увидев меня на верхотуре, с воплем: “Да они нашу

церковь грабят!” – будущие механизаторы начинают раскачивать иконостас, без всякого сомнения, желая, чтобы я, как гнилой плод, рухнул к их ногам на каменный пол. Ситуация становится критической: я, вцепившись мертвой хваткой в деревянные перекладины, могу только творить Иисусову молитву, но сверху вижу, как побледневшие Марина Викторовна и Валерий Николаевич пытаются помешать ребятам, хватают за руки, умоляют остановиться.

Столь же внезапно, как началось, все заканчивается: молодежь с пением под гитару оставляет поле битвы. Как я спустился, – не помню, как и то, что мы друг другу говорили, когда, наконец, встретились на твердой земле. Помню только, что уже по выходе из храма Марина Викторовна безропотно выдала нам по порции реставрационного спирта из неприкосновенного запаса, да и сама, кажется, выпила с нами: “За спасение!”.

Это потом, читая книжку очерков Валерия Николаевича “Дорогами старых мастеров” (М., 1982), повествующую об экспедициях Рублевского музея, в которых он на протяжении многих лет участвовал, я остановился на следующих словах. “Однажды, – рассказывает Валерий Николаевич, – работая с древними рукописями, в старинном фолианте наткнулся я на небольшое литературное произведение древнего русского книжника, в котором говорилось о свойствах разных народов и вер. И немцы, и англичане, и поляки, и “фряжи” – итальянцы – упомянуты были в этом сочинении. А заключалось оно суждением о русском народе. Вера-де наша самая правильная, издревле не искаженная, а “русский народ – переменчив”.

Что и говорить, согласился и я с древним книжником, вспоминая эпизод с “восхождением” на иконостас. Куда как переменчив наш народ-Богоносец! Деды истово молились, благоговейно ходили с хоругвями во время крестных ходов. Отцы и внуки громили храмы, поносили священников и монахов. И опять в “коловращении” истории все на глазах меняется. Уже дети этих “ремесленников”-богоборцев посещают церковь, может быть, даже ту самую, где все это с нами приключилось, только, понятно, после ее восстановления и обновления. Зажигают свечи, единодушно отвечают священнику: “Воистину воскрес!”.

Однако давно уже пора возвращаться в Москву, в Рублевский музей, в “гараж”, где лекция об одной из школ древнерусской иконописи Валерия Николаевича Сергеева, кажется, уже подходит к концу.

В. Н. Сергеева нередко называли московским Златоустом. Как никто другой, он мог держать в напряженном внимании часами любую аудиторию. Духоподъемность его лекций также не подлежала сомнению, временами даже казалось, что ангелы на фресках тоже внимают красноречивому ученому-проповеднику. Это был фейерверк ума и интеллекта, путешествие по высотам духа, миру небесной красоты и совершенства. Оно возвращало каждого из нас к истокам, к дедовской лампадке в красном углу, к соседу священнику, как-то окрестившему малолетнего мальчишку с неясного согласия родителей, не желавших только, чтоб об этом знали все вокруг. Другие крестились уже во взрослом возрасте, некоторые принимали монашеский постриг.

Так стала инокиней Ксенией литературовед из Ленинграда, специалист по творчеству Достоевского, Наталья Соломина-Минихен, дружившая с Сергеевым. В ее судьбе принял непосредственное участие и владыка Антоний Сурожский, с которым она встречалась в Рублевском музее.

Рассказывают и такую историю. Валерий Николаевич во время лекций нередко предлагал собравшимся пройти в один из экспозиционных залов музея, чтобы, так сказать, наглядно убедиться в достоинствах древнерусского искусства. В числе слушателей на этот раз был экстравагантно одетый молодой человек, который после “особенно вдохновенного” пассажа экскурсовода о тонкостях колорита иконы заметил: “Вот у Фра Анжелико колорит! А тут?!” Реакция последовала незамедлительно. Валерий Николаевич подошел к скептику и со словами: “Да Вы просто не видите – слишком далеко стоите!” приподнявшись на цыпочках, ибо скептик был высокого роста, взял его за плечи и чуть ли не носом ткнул в висевшую на стене икону. Все последовали дальше, а тот так и остался стоять перед шедевром. Впоследствии этот молодой человек (Сергей Киперман) монашествовал в Псково-Печерской лавре, стал о. Иосифом...

Тем временем лекция Валерия Николаевича и закончилась: негромко переговариваясь, гости покидают Спасо-Андроников монастырь и разъезжают кто куда.

С тех пор многое переменялось. В. Н. Сергеев давно уже не работает в Рублевском музее. В 1992 г. мы вместе издавали первый (после 1917 г.) светский православный духовно-просветительский журнал с неслучайным названием “Златоуст” (он был главным редактором, я – его заместителем), рекомендованный к печати Отделом по образованию и катехизации Московского Патриархата. Правда, журнал прекратил свое существование уже на втором номере, – прекратилось финансирование Товарищества русских художников. Последнее время мы стали встречаться гораздо реже. Оно и понятно: я по-прежнему живу в Москве, Валерий Николаевич – в Ростове Великом.

Завершить же свои воспоминания я хочу поздравлением в жанре юбилейного спича.

Дорогой Валерий Николаевич, друг и кум!

Поздравляю тебя с семидесятилетием... etc. Желаю тебе... etc.

Я всегда смотрел на тебя снизу вверх, завидовал знаниям, умению ярко и образно говорить, подхватывал на лету твои любимые словечки и выражения. Но “зависть – сестра соревнования, – любил повторять Пушкин, – следовательно из хорошего роду”. Поэтому, хотя я занимаюсь несколько иной областью филологии, вполне отдаю себе отчет, что, если я в ней что-то и сделал, то во многом благодаря тебе.

Главное – в эпиграфе к этому очерку. Он – переадресованная тебе твоя же дарственная надпись на путеводителе по Рублевскому музею, который в далеком 1971 г. ты подарил мне и моей жене Людочке. Я так и не установил источника этой цитаты, а спросить как-то постеснялся. Но сохранил ее в первоизданном виде. И хотя я не собираюсь переходить с тобой на “вы” после стольких лет дружеского общения, в данном случае это знак особого уважения.